

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

## ЭХО РОДНОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

9 МАЯ 2008 ГОДА

Нынче ещё раз пережил то, что скорбит в моей душе, когда открываю ворота и ступаю в пустой материн двор. Приехал после Пасхи, покопался в огороде, справил в одиночестве свой день рождения и отбыл в Тамань к поминальному дню, проведаль могилку у белого забора (какую-то, всё кажется мне, обиженную, кроткую), побывал с таманскими ветеранами войны за Лысой горой в Дымковой балке (у Белого обрыва), полюбовался с горки у косы Тузла грядой отчуждённой Керчи, а в Тамани попробовал вкусного винца и накануне отъезда в стольный казачий град попросил забросить меня в Пересышь. Как раз пролился короткий густой дождь, кругом потемнело зелёным царством, таманцы уединились в дома. Я выехал. Всё мне было знакомо за околицей. И часто повторяется видение, как в пасхальную ночь возвращался я с матушкой, Ольгой Борисовной и Настей из Тамани в Пересышь, помню даже, что я взглядывал на Чиркову горку справа и предсказывал, что когда-то (уже, наверно, скоро) буду так же поворачиваться к волнистому горизонту, но за спиной моей уже матушка моя не притихнет.

Меня не было во дворе четыре дня. Но как больно стукнулась в меня его тоска! Долгота сиротских зимних дней, уж, казалось бы, откинутая, покрытая летним настроением, снова потеснилась в душе. Опять как беспомощных пожалел я двери, окошки, не убранные мною в сарай, скамеечки, всё прочее, что живёт всегда при хозяине.

Я сложил блокноты и кое-какие вещички, отключил холодильник, в хате потрогал материну руку на фотографии на стене (будто извиняясь, что опять обижаю её разлукой) и все-все двери замкнул.

Пусть простят меня все веточки в огороде, всякая травинка-муравка, мята и календула, малина и смородина. И божья коровка, которую я вижу почему-то чаще всего поздней осенью...

### ЗНАЧИТ, ТАК НАДО?

И прошёл ещё один год, а я написал всего чуть-чуть.

Тихо и длинно тянутся мои воспоминания — так же, как тянулся поезд из Сибири на юг в первый раз: такой тягучей полосой, и задержалось всё в памяти.

Я повторяюсь, перебираю одно и то же, но так оно и в жизни, так что-то близкое возвращается к тебе по многу раз, ещё и ещё, и никто не знает про то, кроме тебя, а на бумаге я потому это не сокращаю, что хочется пожить своим веком подольше; кто заскучает — пусть бросит читать, насильно мил не будешь.

Уже я понимаю, что “всего не опишешь” (говаривал не раз в Коктебеле мой дружок Олег Николаевич), что надо поскорей закругляться, сроки кончаются. Но некогда закрыться в тишине, побыть с самим собой, написать кому-то рассудительное письмо, полениться на диване, потом развернуть амбарную книгу и... Зачем суждено мне жить на бегу? Даже четверо суток в поезде до Новосибирска показались бы раем, ехал бы, глядел в окно на бесконечно длинную Россию, читал, что-то записывал. Но в городе я бегаю туда-сюда в хлопотах, вымогаю у властей милость к историческому наследию, трачу часы на общение с чужими, порой противными людьми, да еще не перестаю тащить на себе младое “ельцинское племя”. Сколько пропало дней! Забываешь о своих тетрадках и амбарной книге, а когда как-нибудь вытащишь на стол, присмотришься к датам на страницах — ого! С тех последних строк миновало два года, три, а какую-то главу о Бутурлиновке набрасывал аж семь лет назад! Что ж я так щедро проматывал дни и месяцы? Сколько строчек съпалось искрами и не запаслось на листочках...

...И вот пока писал это сожаление, вытащился из бумажного уголка ещё один помятый листочек, я прочитал и покачал головой.

Полстранички о Топках были написаны двенадцать лет назад и уныло ждали меня.

А может, так надо? Всякое слово исходит из души в свой миг.

## ОТЕЦ ВОЗРОДИЛСЯ ГЕРОЕМ

...И приступил день, которого я не ждал, потому что никаких вестей об отце не могло прилететь с небес. Прошло семьдесят лет, как он погиб под Запорожьем. С матушкой перестали мы его вспоминать давненько. Даже на День Победы она уже не плакала, как в первые годы.

Накануне я звонил в Бутурлиновку словоохотливой Зое Васильевне, и опять я сокрушался, что не съездил в Елизаветино к отцовой сестре Тане, не спохватился вовремя, отстал от своей родни, и почему я таким жил, в чём секрет — не пойму. Лихоносовы в Елизаветине ещё есть. Но то веточки дальние.

Ещё следил я за войнами в Ираке, Ливии, в Сирии, вырезал из газет тексты и фотографии о Каддафи, Уго Чавесе, желал долгой жизни Фиделю Кастро, любил героев Донбасса, ходил к демонстрации “Бессмертного полка”, но увеличенный портрет отца не носил.

Потихоньку проник я в интернет — ради переписки с друзьями и писателями; нашли меня читатели, и одна дамочка оказалась моей троюродной сестрой — Гайворонской. Не из лихоносовского рода, а из бабушкиного Гайворонского явились ко мне по электронной почте с новостью о моём отце. Может, матушка говорила в избе о последнем месяце жизни отца, и я позабыл? Или она тоже не знала? Все семьдесят лет протянулись передо мной.

Вечером я забрался в свой кабинет на третий этаж, распечатал темрюкский коньяк, вышивал и повторял: “За орден, Иван Фёдорович!” И уж к ночи кое-что рассказал я ему и про себя. “А мне святейший Патриарх в храме Христа Спасителя преподнёс литературную премию имени Кирилла и Мефодия. Вот, Иван Фёдорович. Я уже старик. И живу на юге, куда ты обещал перевезти нас с матерью после войны. Меня, наверно, сюда сам Господь послал. Поближе к тебе под Запорожье. А твоей Танечки уже нет, она прожила без тебя пятьдесят шесть лет... Поеду к ней в Тамань, постою, расскажу ей...”

Сканированные с интернета (как подлинные) три листочка лежали возле бокала, и я перечитывал их, как эхо той старой военной поры, которую теперь в точности не воскресить.

## “НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Лихоносов Иван Фёдорович

Гвардии сержант

Командир орудия ПТО (6). Имеет одно ранение.

Т. Лихоносов во время наступления на село Новоалександровку из своей пушки с расчётом уничтожил 2 огневые точки противника и 75 мм-ое орудие противника. 25.8.43 г., когда батальон занял оборону в с. Новоалександровке, т. Лихоносов со своей пушкой находился на правом фланге обороны.

Вражеские танки и самоходные орудия приближались к селу. Расчёт вел огонь прямой наводкой по противнику — был подбит один лёгкий танк противника, но враг продвигался к селу. Расчёт вражеским снарядом был выведен из строя. Оставшись один, т. Лихоносов вёл огонь по контратакующему противнику, прямым попаданием в самоходное орудие заставил противника повернуть обратно.

Не покидал поля боя до тех пор, пока пушка была уничтожена вражеским танком, зашедшим в тыл к расчёту.

Достоин правительственной награды — орден “Красной Звезды”.

Командир батальона гвардии майор К. Надежкин.

Приказ 5-1 Гвардейской бригады

20 октября 1943 г”.

На биографическом поле указывалось, что жил отец на улице Озёрной, 106. А я и забыл! Ну да: я учился в 5-м или 6-м классе, когда номера домов на нашей улице Озёрной стали считаться с другого конца, и наш дом, второй с краю, числился уже под номером 4. Так забывается всё. Может, и о представлении к награде отец успел написать. 20 октября! В этом месяце он и погиб. Чуть ли ни 23-го. Нету матери. Сколько всколыхнулось бы в душе... Некому и мне написать. Сёстры Лихоносовы — Надя, Маруся, Стеша — поумирали. В Елизаветино? Кому?

Через неделю я поехал в Тамань.

В Тамани я поделился родовой новостью сначала с Геннадием Майковым, автором лестных очерков о турецких колодцах, о садах и о мысе Панагия, о раскопках погребов якобы Никоновского монастыря, а к вечеру переметнулся во двор своих сибирских друзей Володи и Веры, заночевал у них после баньки с берёзовым запахом.

Уже в сумерках пошёл я на кладбище к матушкиной могиле. В одиноком углу, подле забора, я коснулся пальцами волос ангела, зашёл в оградку, склонился к надписи, прочитал молитву.

Каждый раз я думаю одно и то же: матери обидно лежать в чужой стороне. На кладбище два века хоронят таманцев, а со стороны песчаного заброшенного карьера заслоняется пустырь могилами крымских татар, обосновавшихся поближе к берегу предков лет тридцать назад. Древних могил не сыскать. Матушка моя лежит с краю, там, где зачем-то подстроили к забору двухэтажный дом. Слышны ей дорожный шум и звон колоколов Покровской церкви, в которой отпевал её протоиерей о. Виктор.

Тихо. Не взлетела ни одна птичка, не покачалась веточка на дереве.

Не я, а что-то во мне растекалось печальной речью над прахом, что лежал глубоко в песке.

“После тебя, мам, из Запорожья какой-то добрый человек прислал фотографию братской могилы в селе Зелёный Гай. Там в списке отец наш, Иван Фёдорович... А недавно... Ты же по отцу Бывальцева, а по матери Гайворонская... Гайворонских и сейчас в Елизаветине много, я на кладбище был, много Гайворонских. И Бывальцевы есть, и Лихоносовы, но Гайворонских, мне показалось, больше. Бабушкин брат Тихон, сестра её Варвара, я и не слыхал от бабушки про неё. И один из Гайворонских нашёл меня, читал, наверно, мою книжку, он в Саратове живёт, при храме звонарём... И вот он передал документ на отца... Наградной лист... Или я забыл, ты, может, говорила, а я забыл, или и правда мы не знали, но оказывается, отца представляли к ордену Красной Звезды. За месяц до того, как ему погибнуть. Вот. В бою один остался, стрелял из пушки и подбил танк... А мы не

знали. Или я забыл? Мне уже восемьдесят... Тебя нет, а меня Патриарх наградил премией, вручали в храме Христа Спасителя. Вот такого ты растила сыночка... В Пересыпи хожу по углам — и везде ты со мной. Настя с детьми часто живёт там. Илюша большой уже. А Ваня родился после тебя, в декабре... Вот, мам... пойду к Харитонычу и Вере Ивановне... В храме свечку поставлю”.

И ухожу вдоль побеленного забора, мать будто провожает меня своей тенью, и я досказываю ей и признаюсь в самом родном: “Зачем ты, мати моя, состарилась и ушла от меня? А зачем и я оставил тебя на сорок третьем твоём году и уехал, проложил тебе смертную дорогу в Тамань? Жить бы с тобой вечно, растить огурчики на огороде и привычно ждать, как над трубой кухни народится месяц, будет с каждой ночью наливаться и потом явится полной луной”.

В то мгновение, когда я, коснувшись пальцами волос ангела, тихонько покидал оградку, косточки матери обижались, что опять остаются одни.

В верхушках деревьев трескалось солнце над Лысой горой, завершало свой день. Я пошёл по улице Лебедева мимо Сенявиной балки на самый верх, где уже Лысая гора была близко и закрывала горизонт дальних крымских гор. Керчь виднелась справа.

Матушка ещё была за моею спиной.

“Если бы отец не погиб, моя жизнь сложилась бы не так. И ты бы не лежала среди казаков. Он хоть и хвалился перевезти нас на Украину, но я сомневаюсь... Родню бы не бросил. Почему-то наши хохлы не переметнулись назад, в деревни под Бутурлиновку. Тяжело сниматься с нажитого местечка. Годы-то были трудные. Да в деревне-то родной горевалось бы на каждом шагу: церковь кучей бревен лежит, домов многих нет. Вот так.

Но на круче не стоял бы точно. На Керчь не смотрел. Отец бы не пустил меня в такую даль. И тогда не написал бы я роман о казаках. И Ольгу бы не повстречал. И всё по-другому было бы... А уж твоя судьба разве такой бы была? Как ты билась, чтобы меня вырастить...”

## ТАМАНЬ ПОСЛЕ ЛЕРМОНТОВА

Солнце всходило и опускалось долгие века, звучали и обрывались в небесную пустоту наречия, имена и названия, веками смиренно лежали вокруг холмы и просторы, переменялись дворцы, дома, хаты, с круч сваливалась в море земля, всё живое чередою отпадало в неизвестность, а годы жития незаметно прибавлялись один к другому и так же незаметно убывали с Таматархи, Матриги, Тмутаракани, Тамани жители; звёзды же мерцали прежние, воды растекались те же, и вот как-то в поздний час показался тут неприметный путник и выбрал себе ночлег в незавидной лачужке и на другой день отметился в Фанагорийской крепости как поручик Лермонтов. Потомился три дня и тихо куда-то уехал.

А солнце всходило над Лысой горой год за годом.

Однажды в хате Царицыхи я мечтательно хвастался, что напишу элегию под заголовком “Тамань после Лермонтова”. Наверное, это было года через три после ельцинского переворота. Помню, я не мог привыкнуть к тому, что знакомые мне катера “Пион” и “Егор Клебанов” перестали перевозить народ в Керчь — из Сенной и Тамани.

Тысячелетняя связь двух берегов прервалась.

Уже нельзя было насладиться водной дорогой из Сенной или (что чаще всего) из порта Кавказ. Матушка разбудит в пятом часу, сготовит мне завтрак, я потомлюсь во дворе в ожидании минут, назначенных к выходу на остановку, пройду по проулку мимо сонных окон и закрытых дверей, увижу ещё пустую дорогу на Ахтанизовскую и на косу Чушку, стану возле двух-трёх фигурок, так же проснувшихся ради поездки в Керчь, почувствую тоньше, чем всегда, вечный мир Божий и потом через час удивлюсь существующей без меня жизни на переправе, вспомню, что к востоку в окончании городской черты, где-то вроде бы в тайне, кроется Еникале. “Не могу вам сказать,

сколько дней я в Еникале. Здесь все дни похожи один на другой, и счёт их от этого теряется”, — писал К. Леонтьев матери Федосье Петровне в Калужскую губернию в родовое имение Кудиново. Я побуду в Еникале полдня только после мирного возвращения Крыма и постройки моста через пролив, и в Керчи тоже вспомню Леонтьева, а дома выпишу его слова в тетрадь. “Керчь мне очень нравится, она тихая, как провинциальный городок, и в то же время оживлённая, живописная и чистая”. Жалко, что её не посещал Лермонтов, может, ещё одна волшебная повесть возшла бы и называлась коротко: “Керчь”. Разгадывать тайны героев пришлось бы устремляться сюда, в этот милый городок, в котором всего век назад проживало шестьсот человек (и по нему прохаживались со свитой Государи — сперва Александр I, потом Николай I. Да, повесть “Керчь”. Но сердитый поэт не обзвал бы и Керчь так же, как Тамань? Всего через восемнадцать лет оказался там в Крымскую войну Леонтьев. А уж я, простой и грешный, в Керчи и в Еникале радовался тому, что приморские земли опять сомкнулись по-старому; невмоготу было глядеть с кручи на всё родное как на заграничное. Да, да, стоял я в Тамани на месте раскопок и глядел на керченскую полоску, вдруг чужую, отобранную. И при греках, и при тмутараканских князьях, и при турках, и при всех пришельцах всё тут соединилось в какое-то родство. Гора Митридат была, кажется, видна в ясный день.

А при Ельцине и Тамань в считанные месяцы стала другой. Распродали земли, мёртвой и ненужной присмирела пристань.

И как-то приехал я из Пересыпи, и мы сидели кружком в просторном дворе Геннадия Майкова. Сидели под виноградником за покрытым белой жестию столом; за торцом его был круглый турецкий (а может, и греческий) колодец с вкусной целебной водой. В просторном дворе, тоже когда-то греческом и турецком, в сторонке к улице К. Маркса (быв. Холодной) вместо забора выстроились в ряд комнаты для гостей и сауна с соседней кухней, с которой приносили гостям угощения.

Геннадия Григорьевича любили проводить сторож правления Черноморченко, ласковый пенсионер Алексей Иванович Филоненко и казак Гудзь. Заболтавшись, мы порою дразнили себя осколками сичевиков-запорожцев, приставших к Тамани два века назад.

Вино разливалось царское, рыбка соблазняла своей поджаренной корочкой. Гости были родовые таманцы, любившие хозяина. Я не побоялся захмелеть.

— Послушайте меня минуточку... — сказал я. — Вот мы сидим. Знаем, какой год, месяц, число, что вокруг. Так будет завтра и послезавтра. Вокруг нас, как мошки, выются события, имена, мы про всё знаем, манят нас дела и заботы в Темрюк, Анапу, в Керчь и в Москву, а то и в какой-нибудь Новосибирск. Без страха поминаем мы истлевших князей, царей, монахов и писателей. Живём, празднуем. А потом? Ты жил, цвёл, годы твои истекали, и вот тебе закрыли глаза, отпели. Оплакали, перебрали твои освобождённые одежды, но всё под небом живёт без тебя, и всё живое продолжается, царствует, шумит, страдает, свершаются другие события, пишут стихи, всходит над дорогой, по которой ты ездил, луна, а тебя нет и не будет никогда. Такая банальная мудрость, да?

Все четверо ссунулись плечами.

— Так и с Лермонтовым. Вот стоял он тут на круче, ночевал в хате, ходил отмечаться в Фанагорийскую крепость. И уехал, был убит в Пятигорске. А что было тут же и вокруг после него? Где та душа, которая чутко следит за переменами на земле, и где та звезда, которая всё видит, запоминает и, может, скорбит по утерянному? Как долго без нас будут светиться звёзды? Да, он уехал, а что тут было после него? Неизвестно даже, как жили в той хате, где он ночевал. И что стало с хозяйкой...

— Слепым мальчиком...

— Ну, это я уж сто раз оплакал...

Алексей Иванович зачем-то тёр пальцами мочку уха. Черноморченко улыбался с каким-то тихим удивлением: мол, оно всё так и есть, но живём-то без рассуждений. Гудзю, видать, хотелось поговорить о своей родне. Геннадий Григорьевич мудрил со свежими закусками и задабривал очередной

порцией домашнего вина. Но минуты молчания задерживали нас у опасной черты, всем уготованной, у... у... родных крестов.

Алексей Иванович с извинением вытянул бокал над столом. Угождая ему, прислонил свой бокал Черноморченко. Ударил звонко Геннадий Григорьевич. Не отказался от товарищества Гудзь. Я коснулся стеклянной кучки погрустнее. Закусили, и я прервал молчание.

— И решил я порыться в бумагах. Попробовал перебрать “дела” в архиве, но тотчас понял: жизни не хватит на такие раскопки!.. Только какие-то очертания можно провести по кругу жизни, сиявшей повсюду в годы без Лермонтова. Только слёзная, неслышная люду мелодия повиснет над его смертной плитой и над строчками о нём, и над самим временем.

— Хорошие слова, — похвалил меня Майков. — Давайте помянем всех...

— О замысле своём я забывал и лишь как-нибудь ночью, на таманской круче или во дворе, когда душа чуть слезится, вспоминал и жалел Лермонтова.

— Будем считать, что мы открыли исторический кружок, — сказал самый разговорчивый Алексей Иванович, — и под винцо и рыбку много кой-чего натолкуем. Сидим, как запорожцы вокруг бочки. Черноморченко бумажку насчёт клада в огороде зачитает, Геннадий Григорьевич про турецкие колодцы расскажет, Гудзь свою родню, что у царя служила, из гроба поднимет, а я что-нибудь своё. Вот, наш дорогой писатель, и будет вам “Тамань после Лермонтова”.

— Это слишком далеко, — возразил я. — Лет десять, ну, двадцать после него — это интересно.

— Да никто ничего не знает! — сказал Черноморченко. — Живём своим днём. Кому сейчас нужно, что колысь при царе вместо Соколова стал атаманом хорунжий Толстопят? А станичным писарем — Фёдор Боровик. А потом и этот Боровик стал атаманом. Кому от этого легче жить? Или кого-то горячая баба сводит в ров Сенявиной балки и там зацелует? Или мне византийских монет кто принесёт? А писателю нашему новые калоши подарит?

Все дружно засмеялись, похватили стаканы и выпили с запорожской дружбой.

— Та-ак... — прикончил действие Алексей Иванович.

— Атаман Боровик... Наверное, это у него было такое странное звание “урядник из дворян”, — погадал я. — Не его ли Боровиковские колодцы?

— Или... — протяжно вступил Алексей Иванович, — вам интересно знать, как (бабка подругам рассказывала, а я слушал и запомнил), как слепого Глушко назначили сторожем в ту Фанагорию, куда в своё время ходил и Лермонтов. Потом вместо него поставили Тимофея Кошкяра.

— Солнце вставало и заходило за мыс, — послышался голос Майкова. — Ветры дули, волны взбухали, старики умирали, казачата рождались, в трактире “Черномория” порою дрались. Уже не купить нам у Агафьи Печенежской мяса по восемь копеек за фунт.

— Не приглубить и саму. — Алексей Иванович черкнул пальцем по воздуху. — А была, может, на загляденье.

— И фамилии такой в станице нет.

— Пожалуется в станичное правление Прасковья Рябушка, — угождая речам, влез в разговор и я. — А была ещё и Оникия Рябушка. И будут жаловаться один на другого, на атаманов Кондрата Майноху, Владимира Толстопятя, Василий Соколова, устраивать в честь храмового праздника конские скачки, а “в части станицы, называемой Давыдовка” (где это? забыто), бросали в ночное время камни в прохожих, и так всё текло, менялось, Тамань “страдала от множества песка”, а солнце всё так же всходило и опускалось на краю Керчи, над мысом за Лысой горой, и ещё долго левый рукав Кубани впадал возле Бугаза в Чёрное море... Лермонтов мог видеть остатки турецких садов, брошенных “при занятии русскими войсками Тмутараканского кута”.

— Надо же, — удивился Алексей Иванович. — Ещё держалось у кого-то.

— Что тут сказать? — Геннадий Майков откинулся на спинку кресла. —

Только вздохнуть... Запорожец Черноморченко принесёт по моему указанию баллончик, передали с того берега Таманского залива, из Гарькушей... Грузинские сорта. И я вам зачитаю, какую Тамань уже и не знают, и не помнят, и...

Черноморченко отошёл куда-то, тихо возник сбоку и с лукавой улыбкой спустил на стол тяжёлую бутылку. Все забыли разговор и взглядами расценили подарок товарища как хороший. Майков держал в руке листочек, ждал минуты внимания.

— “В 1482 году турки окончательно завладевают берегами Боспора. Почти в десять саженей высотой стояла на берегу Таманского залива Турецкая крепость. Сзади крепости (к юго-востоку) находился огромный водоём (артезианский кратер), в обилии снабжавший город и крепость водою. Этот водоём, существующий и теперь, имеет около двух вёрст в окружности, отстоит от моря в 400–500-х шагах и возвышается 30 футов над уровнем моря, с которым соединяется узкой глинистой балкой. Во времена турецкого владычества этот водоём никогда не высыхал и питал своею водою около двухсот фонтанов и колодцев, устроенных турками”.

— Писал в старину какой-то Беккре.

— Ну, и где же эти фонтаны, колодцы, где этот водоём на две версты? — возмутился Алексей Иванович. — Агафьи Печенежской нет — ясно, а куда фонтаны-то провалились? Надо нам собраться по-запорожски и матерное письмо составить...

— Ну, не турецкому султану же... — сказал я.

— Да хоть кому! Все виноваты.

— “Турки обратили свой город с великолепными зданиями, мечетями и дворцами в Эдем. Тенистые фруктовые сады сплошь покрывали нынешние пески и пустыни Тамани на большие пространства. Дорога от Тамани до Бугаза (18 верст) извивалась в тени густого непрерывающегося сада”.

— И где оно? — спросил Алексей Иванович с возмущением и вытянул руку. — Я там на ферме работал.

— Дюбуа де Монпере видел сады. О нём в Тамани даже учителя не слышали. И где прочитать?

— “С 1771-го и по 1792 год Тамань всё более и более разрушалась и из цветущего богатого города обратилась в груды развалин”.

Тяжёлая бутылка грозно держалась над тарелками. Сечевики мои запорожцы чего-то ждали, раздумывали: разбирать ли тёмную историю или приглашать друг друга к возлиянию.

— “Эти жалкие остатки бывшего величия Тамани окончательно разрушили мы, русские”.

— А после Лермонтова в Крымскую войну англичане и французы покалечили станицу совсем. Жители убежали в Ахтанизовскую.

— И не нашлось по сей день старателя, который бы сгрёб в фолиант все тексты. Ни разу не назвали князей: Мстислава, Глеба, Святослава, Олега.

— Да и преподобного Никона забыли. Улицы его нет. Я предлагал поименовать прибрежную улицу Лебедева улицей летописца Никона, первый секретарь райкома, бывший шофёр, пробурчал: “Нам сейчас не до истории”.

— В церкви не напоминают на службах, что предание гласит о прохождении по этому краю апостола Андрея Первозванного. Суворова забыли!

— А мы всё грузинские сорта пробуем... — едко подковырнул Алексей Иванович.

— Никто ничего не знает, где и как жили люди, — сказал я. — Где Киммерийский вал? Хутора Штригеля, Посполитаки, Софрона Бурло? Всё молчит. Молчит небо, тысячу раз засыхала и вырастала трава, укоротился лиман, потерялись тропинки и вытоптанные дороги. “По балке близ хутора Софрона Бурло гора Султанская”. Где? У кого спросить: почему “султанская”? Всё молчит, могилы рассыпались, никому ничего не жалко. Так устроена жизнь. Плакать хочется. Герцог Ришелье бывал в Тамани, раздавал сады. Государь Александр II дважды ступал с пристани на берег.

— После Лермонтова.

— Намного позже. Может, вспомнил повесть “Тамань”. Честное слово, в Тамани хочется стать ребёнком и беспрерывно задавать глупые вопросы.

— И пробовать грузинские сорта, — опять с улыбкой подстегнул Алексей Иванович.

— Своих полно. Читайте рекламу. “Мерло” выдерживается двенадцать месяцев в бочке из американского дуба. “Шато Тамань” с гранатовыми оттенками. Отлично сочетается с белым мясом и ягнёнком. Ещё “Кюве Александр”.

— К нашей местности больше подходит домашнее, — с улыбкой превосходства сказал Майков. — Белое под рыбку: кефаль, осенний лобань. Красное — под свининку.

— Лермонтова такой трапезой не потчевали. С голоду чуть не умер.

Алексей Иванович торопливо вскинул руку.

— Перебыю. Греки, да турки, да запорожцы. Никак до нас очередь не дойдёт. А что увидел бы господин Лермонтов на Тамани в гражданскую войну? Какую такую удлину посадил бы на крышу хаты? Почитайте Ахтанизовского атамана Гулого. А что пришлось бы ему пережить, когда немец три дня подряд бомбил Тамань? А не забрали бы в Германию и того слепого с узелком, что плутал по двору и у пристани? Тут такое было несчастье. Вагон стекла одного собрали. Всего шесть домов осталось. Мы сколько в землянках жили! “Господи, помилуй!” — и сейчас слышу крик соседки под бомбами. Целый год, помню, фуражное зерно в куче горело, дотлевало, там, где фермы были. А девчат немцы по хатам вылавливали и свозили на вечеринки к морю. А во власовскую армию молодых записывали. “Пойдёшь? — Не хочу. — Та-ак... А ну, давай до коновязи”. Коновязь. Перегибают хлопца по полам и плетью, и плетью! А плеть толщиной с мой палец. И на конце подобие бычьего члена. И аж лопается кожа, и спина вся в крови. Вот такая Тамань после Лермонтова. Ещё. Бежит к нашей хате мальчик: “Тётя Наташа, спасайте. Немцы ребят в Германию забирают!” Мать моя двоих в кукурузный шалаш, а меня с братом в сундук. Врываются. Открывают крышку, а там мы. В Керчь! Чужих схоронила в кукурузе, а меня с братом в Керчь. Там наши как раз бомбят. И счастье, что была там моя двоюродная сестра, она меня забрала. А немцы отступили. Все вы писатели хорошие, но жизнь пишет страшнее.

После такой речи мы молчали и даже выпили несколько раз не чокаясь.

— Схожу-ка я в музей, — сказал я и поднялся.

В музее ещё работал В., я вызывал его на прогулки вокруг Лысой горы. Или в полночь отпирали мы хату Царицыхи и сидели возле сундука, там, где я забавлялся как-то с сестрёнками, похожими на черкешенок.

— Ты написал книжку о дуэли, лучше бы порылся и подобрал житейский синодик... Мотив один: жизнь без меня. Так же взойдёт и потонет за водяной чертой солнце, так же будут на улицах слышаться голоса, кто-то незаметно проедет из Сенной. И так же незаметно приехал какой-то поручик (Лермонтов), побыл, уехал, где-то под Пятигорском погиб. В Тамани после него так же текли дни, что-то происходило, кто-то родился, все прошлые дни забылись, и поручика помнило только небо. Трогает?

— Пышно, красиво говоришь. Небо тоже не помнит.

— А всё же... Покопаться. Была ли дорога в Тамань из Сенной? С какой стороны Лермонтов въезжал в Тамань? Где он сворачивал за Темрюком? Весьма интересно. Была ли сбоку от Темрюка дорога на Вышестеблиевскую, если вообще считать дорогой какую-то прорезь через камыши и болотца? Или он поехал через Голубицкий хутор, Пересыпскую почтовую станцию (она была под нынешним маяком), видел чудное лукоморье внизу (что и теперь, когда подъезжаешь к Пересыпи, она подальше, это не та почтовая станция), как-то переправился через гирло (на чём? Оно широкое, выбирается из Ахтанизовского лимана), проехал по голой песчаной земле там, где матушка моя ходит к базарчику, где указатель на порт Кавказ и на Ахтанизовскую...

— Нет, — говорил В. и распирался передо мной мягкой высокой фигурой. — Так ехать было нельзя. То бы он в Ахтанизовской запомнил гору Бориса и Глеба, Бловаку, кому-нибудь в письме черкнул, а уж Фанагорию



(Сенную), Таманский залив — его Печорин упомянул бы точно. Нет уж, заезжал он в Тамань со стороны Вышестеблиевской и тут-то за нынешним памятником Головатому нашёл эту самую лачужку на круче, хату Царицыхи, якобы в которой мы с тобой полуголодно ночуем.

— Без вина и без черкешенок.

— Ты пойми, если бы Лермонтов въезжал со стороны Сенной, то первым делом наткнулся бы на Фанагорийскую крепость, там и его Печорин сразу бы отметил (в повести-то “Тамань”), нечего бы его посылать потом от самой пристани.

— А как же тогда фанагорийские древние греки обходились без сообщения с Таматархой?

— Теперь не разберёшься. Где вообще вся старина?

— Молчит небо, — подхватил я вздох В., — могилы рассыпались, а на запорожском кладбище затолканы другими гробами, поручика Лермонтова никто не читает. Я без конца повторяю: так устроена жизнь.

— Едешь от Сенной, вода — как разлитая на ровном месте, за совхозом “Приморский” берег тоненький, а на той стороне Гарькуши и всюду вьет тайной, и чуть ли не просишь всё это: ну, откройтесь, подышите своими днями, назовитесь...

— Старину чувствуют люди наивные, — сказал В. — Всё, что исчезло от нас, стало священным. Каждый камень, каждая бумажка. Мне попалась открыточка: от турецкого фонтана казачка несёт воду на коромысле. А на обороте чьей-то рукой: “Из станицы Таманской навсегда”. Понятно было тому, кому адресовалось. А мы уже будем гадать. Так во всём.

Мы много-много раз перебирали одно и то же, одно и то же, ничуть не смущаясь этого, а порою и довольствуясь повторением своих переживаний. И часто мы подолгу молчали, и нам не было тягостно.

Из Тамани он уехал, но как-то мы пересеклись и опять поговорили о близком.

— Мы с тобой ещё не ходили ночью вверх по улице Лебедева. Там направо выход к круче, и виден изгиб, мыс, двугорбая Лысая гора. Цепочку керченских огней увидим.

— Я вспоминаю, как в году, наверное, 79-м мы с тобой встали рано и вышли к первому катеру. И мама моя (царство небесное) собралась продать пару корзин помидоров, и мы их поднесли. Татары тоже ехали на базар. Было это в СССР. Катера не плавают уже сколько лет. И это тоже забудется...

С В. говорить можно было только о старине и о загадках вокруг Лермонтова.

Но наступили годы, когда я на берегу и в прогулках по прибрежной улице был один. В. из Тамани перебрался в Москву и только книги свои присылал мне с надписями — “Летопись жизни М. Ю. Лермонтова”, “Загадка последней дуэли”. Я каждый раз возле его бывшего жилища набирал номер телефона и докладывал ему, что вижу его балкон и думаю, как мы когда-то сидели там, пили чай и перебирали свежие выпуски “Тарханского вестника”, пятигорские записки, кавказские сборники.

В Тамани он не появлялся долго. Но вот мы увиделись. И, побранив женщин, тотчас отвлеклись к заветным темам.

— Если бы ты не уехал, в музее бы не только водили по двору купальщиков и зевак, но и собирали саму историю таманскую. Тогда...

— Я не был нужен, — перебил меня В. — Ты же помнишь, как это было.

— У меня лежит письмо моё к властям, я тебе давал? Как они не хотели, чтобы ты опекал музей на директорском стуле! И партийные дамы, и так называемые “представители культуры” в Краснодаре. Ничего нельзя было доказать: такой плотный слой серости, что ничем не пробьёшь.

— Этому слою ничего не нужно... Им и книги читать тяжело. Они равнодушно смотрели, как уничтожается старина. Дамы! На стулья культуры всегда сажали любовниц. Стали застраивать Сухое озеро — молчание. Запустили Сенявину балку. Позволили снести реликтовую хатку у моря. И ещё

одну — у раскопок. Находятся турецкие колодцы: “А кому они сейчас нужны? Хватит водопровода”. Построить бы на музейной земле хранилище: “А какие бумаги туда складывать?” До самого последнего времени они не знали, что по преданию в этих окрестностях бывал апостол Андрей Первозванный.

— Да. О преподобном Никоне не слыхали, улицы в его честь нету. Все великие имена, священные уголки (хотя бы земля Фанагорийской крепости), сама история, литература — только мгновения благополучных мероприятий, косноязычных речей и тостов на ужине. Вся историческая красота Тамани, её прибрежный облик, её скрижальная судьба — в руках ничтожеств. Сенявина балка беспризорная. По милости этих бабёнок и застоявшихся жеребцов нет в Тамани и тебя. Невыгодно держать таких. “Слишком много знает”...

— После Остроумова Таманью не занимался никто. Он собрал музей, всё погибло в войну, неизвестно, что стало с ним самим, он до революции был священником. Люди пережили столько невзгод, что им всё равно. Все старые плиты с могил стащили к забору, а потом увезли. Зачем тут я?

— А было бы славно ездить к тебе на старости лет “на чай с церемонией” и заставить нечаянных гостей, этих вечных милых гробокопателей, эти-ких ираклиев андрониковых и мануйловых, ищущих то, что найти тяжело, но без таких идеальных затей скучно было бы. Утречком бы вставали, поплыли на катере в Керчь, иногда пробрались в Феодосию, а там и бессмертный писательский Коктебель рядом. Будь я богат, я подарил бы тебе в Тамани квартиру, живи, издавай то, что натаскал из архивов, пригревай ту редкую публику, что пробирается к Тамани повздыхать, побыть наивными.

— Я бы им цитировал: “Вчера, в четверг, провела у нас вечер Сашенька Смирнова вместе с Лермонтовым”. Окрещённую тобой “гостилицу Чичикова” можно тоже с толком использовать; пригласить есть кого. Но её перестроили под... дегустацию вин. И так всё. Упразднили радость салонных встреч.

— И заговорились бы дотемна за бутылочкой вина о “Записках” той самой Смирновой-Россет, а там бы и я подоспел со своей бутылочкой “Чёрного лекаря”, с ходу взялся бы усовершенствовать ту прелестную мечтательную, даже пустоватую болтовню и разгадывание того, что разгадать невозможно, но в этом и счастье всякого, кто покоряется литературе, а уж в глуши, вблизи берега, пахнущего морской камкой, да на виду серебристого водяного поля... А к ночи в созерцании дальних огней и призрака Еникале, да если ещё глазки чьи-то сверкают и ножка под столом дотронется, — помнишь, однажды мы сидели у тебя на кухне с дамой из Кисловодска, тувельку которой я под столом уволок ногой, где она, кстати, теперь, не в Израиле?

— В Хайфе.

— Ну, вот. А у нас богатые чужаки привезли своих нечитающих дам. Тамани быть бы уголком отдохновения, а вместо этого её превращают в промышленное болото. Тихая её древняя простота кончилась.

— Ах, ты так говоришь, словно выпил. Ещё пуще расстраиваешь меня... Десять лет прожил я в Тамани, а вернуться некуда. Нету угла моего. Я уезжал, конечно, тщеславно, мне хотелось жить в высоком культурном ряду, из Москвы ездить в Ленинград к Мануйлову, к академику Лихачёву, сидеть в театрах на знаменитых спектаклях, иметь доступ к редким архивам, чуть ли не пальцами волшебного трогать строчки, написанные рукою Лермонтова, слушать речи, каких не могло быть в Тамани. В Пятигорске, ты знаешь, я дружил с дядей Лёней, который общался с генералом Шкуро, а баба Жёня при мне писала “Это мы, Господи” — про то, как в Лиенце англичане выдавали казаков Сталину и спаслись немногие, как она уходила через горы. Казимира Тимофеевича, которому в лагере изменили фамилию, великого читателя, так и носил в сеточке очередную книжку, его же задавили в толпе на стадионе, знаешь? Побывал я в Америке, видел в церквях последних, да, этих, не похожих на нас отпрысков царской России, видел даже дочь поэта К. Р. (великого князя Константина Константиновича) — Веру Константиновну, даже разговаривал с ней, даже — представь — спросил бес тактно, читала ли она “Тамань” Лермонтова, при этом сказал, конечно, что

я жил в Тамани. А я падох на знатность, на родовитость — княжескую ли, царскую, и чувствовал себя счастливым. Потомки Голицыных, Голенищевых-Кутузовых, Раевских, Волконских молились рядом со мной и в Вашингтоне, в храме Иоанна Предтечи, и в Нью-Йорке, и в Джорданвилле... Словом, насмотрелся и наслушался вдоволь. Подходил под благословение к митрополиту Виталию и кое о чём расспрашивал. А в Москве кого только ни видел! Княжна Мещерская дожила до горбачёвской перестройки. Трудно просчитать, но отец её общался с Лермонтовым! Я у неё бывал и читал в рукописи её воспоминания о детстве. Они изданы.

— У меня есть.

— Масонов тоже повидал. Бобринские такие. Вернулся. Опять разбегды: Турция, Иран, наша Средняя Азия, Пятигорск, Кисловодск. Книг, бумаг накопил горы. Личная жизнь треснула. И захотелось к старости подремать душой в Тамани. Перевезти сюда тысячи томов, разобрать, пожертвовать многое в музей. Писать, помогать музею, в чём-то наставлять. Ведь я и таманской историей занимался, и с археологами жил тесно. И что бы тут можно сделать! Рядом за проливом Керчь, близка Феодосия. Боспорское царство, Тмутараканское княжество, хазары, татары, турки. И Стамбул недалеко. А что видим?

— Тамань — самый скверный городишко, — сказал я. — Уровень учителей средней школы. Хищный хазарский каганат на берегу.

— Турецкая крепость во-он там стояла... — В. вытянул руку так уверенно, словно не раз бывал в этой крепости при турках. — И какой-нибудь Сулейман-паша так же, как мы вот сейчас, в той вот точке сидел и рассказывал кому-нибудь легенды о том, как брали Константинополь, всю Византию, каких красавиц пленили. Той крепости след простыл...

— Все голоса в небесах.

— Послушать бы.

— Если бы ты жил тогда, — сказал я улыбаясь, — всё бы записал. Я тебе говорил уже: мне хочется верить, именно хочется, что в Турции где-то в хранилищах есть бумаги из Тамани и о Тамани, но их никто не разбирает. Попросить Орхана Памука? Ты читал его роман “Стамбул”? А ещё я купил в том же магазинчике, что напротив через дорогу от твоего балкона, “Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя”. Читаю с великой тоской. В молодости я прозевал Византию. Ничего не читал.

— Женщины помешали.

— Нет. Я, наверное, не писатель. А что-то этакое. Нечаянное.

— Ты словами пишешь музыку. Это все отмечают. Душа струится.

— А вот ещё так же, — легко закричал я, простирая руку, — так же, при турках, шли от дворца две особы, игриво покачиваясь, перебрасываясь словами и хохотом, шли, а к ним сверху спускались по этой же улочке два господина. Красавицы! Сестрички! Черкешенки мои! Я вас узнал!

То были наши знакомые, всегда игривые с нами двойняшки, которых я уже описал в главе “Слепой мальчик”.

Мы церемонно им поклонились.

Я не помню разговора с ними. Дни смешались с другими. Наверно, опять я терзал их домыслами о Мысниках, продавших хату, в которой ночевал Лермонтов (Печорин). А может, мы приглашали их посидеть в той хате? Мы к ней пришли одни, это я помню. Я даже припоминаю, что возвращались мы тогда медленной усталой походкой — как будто отяжелели от ходьбы и разговора о дальних веках...

*(Окончание следует)*